
Я ПРОСНУЛАСЬ
В ТЕЛЕ
ОРКА.
И ТЕПЕРЬ Я ЕГО
ВОЖДЬ
18+
Мария Кирова

Мария Кирова

Я проснулась в теле орка. И теперь я его вождь

«Автор»
2026

Кирова М.

Я проснулась в теле орка. И теперь я его вождь / М. Кирова — «Автор», 2026

Вчера Наташа была обычной девушкой. Сегодня она — Гроннар, могучий орк-сокрушитель и вождь клана, которому грозит война. Стоит врагам узнать, кто скрывается за клыками, — её убьют свои. Но чужое тело помнит кровь, власть и желания, которым всё труднее сопротивляться. Между верной Иргой, опасной Кейлин и разломом, способным вернуть её домой, Наташе предстоит выбрать: снова стать собой или признать, что прежней её больше нет.

© Кирова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чужие руки 5
Глава 2. Маска 9
Глава 3. Клыки и слова 12
Глава 4. Чужой среди своих 16
Глава 5. Ритуал 20
Глава 6. Дым над водой 24
Глава 7. Ультиматум 28
Глава 8. Правда 32
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Мария Кирова
Я проснулась в теле орка. И теперь я его вождь

Глава 1. Чужие руки

Пальцы широкие, тупые, с мозолями в незнакомых местах – на костяшках, у оснований больших пальцев, на рёбрах ладоней. Мозоли гладкие, старые, въевшиеся в кожу так, что там уже не кожа, а кость.

Сердце бьётся гулко, медленно – как мотор, который настроили на другой ритм. Я жду, что оно ускорится, потому что мне страшно, но оно не ускоряется. Сердце вообще меня не слушается. Работает само по себе, ровно и тяжело, и от этого почему-то ещё хуже.

Я сажусь. Земля холодная, но холод не забирается под одежду – её просто нет. На мне – кожа, мех, что-то тяжёлое на плечах, грубая железная застёжка. Грудь тяжёлая, незнакомая. Я трогаю её и вздрагиваю: рельеф мышц, жёсткая щетина, шрам поперёк рёбер. Мои руки. Не мои руки.

Где-то рядом горит костёр. Пахнет дымом, горьким мясом и чем-то кислым – чужим потом. Ещё пахнет мокрой холодной землёй и травой. Ночной воздух бьёт в ноздри, и я чувствую каждый оттенок запаха, хотя не должна бы. Не в таких количествах. Будто кто-то выкрутил громкость обоняния до предела, и всё слилось в плотный, вязкий ком, который стоит в носоглотке.

Я разглядываю руки. Поворачиваю ладони, изучаю мозоли, потом провожу пальцем по шраму на рёбрах. Он длинный, рваный, давно заживший. Тело отзывается на прикосновение как настоящее – кожа стягивается, под ней твёрдое, горячее. Я щипаю себя за предплечье. Больно. По-настоящему больно, тупой, глубокой болью, которая отдаёт в плечо.

Клыки во рту я обнаруживаю языком. Они мешают. Нижние, острые, упираются в верхнюю челюсть. Я пытаюсь закрыть рот нормально – не выходит. Челюсть слишком тяжёлая, слишком широкая. Приходится держать её чуть приоткрытой, и это неудобно, и я злюсь на это, и злость тоже приходит откуда-то снизу, из живота, как волна тепла.

Отражение в луже у костра: зелёная кожа, тяжёлая челюсть, клыки. Глаза – жёлтые, с вертикальным зрачком. Они моргают, когда я моргаю. Я смотрю на них, и они смотрят на меня, и в этом нет ничего похожего на узнавание. Чужое лицо. Совершенно, безоговорочно чужое.

Я не кричу. Кричать – значит умереть. Это я помню, хотя не помню, откуда. Знаю просто, как знаю, что нельзя дышать под водой. Знание без источника, без воспоминания, без причины. Просто факт, тяжёлый и несомненный, как камень в руке.

Шаги за спиной. Тяжёлые, неровные – хрустят ветки. Кто-то приближается к костру. Я замираю, и тело делает то, что я не просила его делать: мышцы напрягаются, плечи разворачиваются, руки опускаются чуть ниже, чтобы были готовы. Боевая стойка. Я не выбирала её. Она выбрала меня. И от этого по спине идёт холод, который не имеет ничего общего с ночным воздухом.

Шаги ближе. Я сижу у костра, спиной к ним, и считаю удары сердца. Тяжёлые, медленные. Четыре. Пять. Шесть.

– Гроннар.

Голос женский. Низкий, хриплый, с придыханием на втором слоге. Я не оборачиваюсь. Не сразу. Плечи сами разворачиваются, и вот я уже смотрю на неё поверх плеча.

Орка. Высокая, широкоплечая, с тёмной косой, переброшенной через плечо. Лицо жёсткое, скулы тяжёлые, но глаза смотрят внимательно. Слишком внимательно. Она стоит в трёх шагах, и руки её опущены, но я вижу, как напряжены пальцы. Она готова к чему-то. К чему – я не знаю.

– Гроннар, – повторяет она. Тише. Вопросительно.

Гроннар. Это моё имя. Моё – не моё. Я открываю рот, и из горла выходит звук, от которого я вздрагиваю: низкий, рваный, больше похожий на рык, чем на слово. Голос чужой. Голос не мой.

– Да.

Одно слово. Я говорю его и слышу, как оно звучит: тяжело, глухо, из глубины груди. Как камень, брошенный в воду.

Она стоит. Смотрит. Молчит. Я молчу тоже, потому что не знаю, что говорить, и молчание кажется единственным, что не выдаёт меня. Проходит секунда, потом ещё одна. Она чуть наклоняет голову, и в этом жесте что-то есть – не вопрос, нет. Проверка. Она проверяет что-то, чего я не понимаю.

– Костёр прогорает, – говорит она.

Я смотрю на костёр. Он и правда прогорает – угли красные, тлеют по краям. Я не знаю, что на это ответить. Киваю. Она отворачивается к куче дров у дерева, берёт полено, кладёт в костёр. Искры летят вверх.

– Ирга, – говорит она, не оборачиваясь.

Имя. Её имя. Она назвала его так, будто я должен знать. Беру на заметку: Ирга. Запоминаю, как она стоит – чуть боком, ноги на ширине плеч, левая рука ближе к ножу на поясе. Не угрожает. Привычка.

– Ты мало ел, – говорит она. – Мясо осталось.

Я смотрю. На камне у костра лежит кусок чего-то обгоревшего. Мясо, видимо. Я не хочу есть. Тело хочет – живот сводит тупой, тяжёлой, тянущей болью, но мысль о еде вызывает тошноту. Чужой голод в чужом теле.

– Позже.

Она оборачивается. Смотрит опять. И на этот раз взгляд задерживается на секунду дольше, чем должен. Она что-то видит. Что-то, чего я не вижу. Я не знаю, что именно, но от этого взгляда по шее идёт жар, и челюсть сжимается сама. Тело готовится к чему-то. К драке, наверное. Или к бегству.

Она не спрашивает. Уходит. Шаги удаляются, хрустят ветки, и я остаюсь один с догорающим костром и куском мяса, который пахнет горько и сильно.

Я смотрю на свои руки. Зелёные, тяжёлые, с мозолями, которых я не заработал. Шрамы, которых я не получал. Мышцы, которые напрягаются сами, когда я ещё не решил, что делать. Тело живёт своей жизнью, а я – гость в нём. Нежданный, незваный, не на своём месте.

Мясо я всё-таки беру. Откусываю. Вкус резкий, дикий, с дымной горечью и чем-то ещё – соль, может быть, или кровь. Тело принимает. Желудок расслабляется, голод отступает. Я жую и думаю, а думать странно, потому что мысли приходят медленно, тяжело, как будто им нужно пробиться через слой чего-то густого и тёмного.

Я была на вечеринке. Был свет, музыка, кто-то смеялся. Был стакан в руке – холодный, мокрый. И потом – ничего. Пустота, провал, и вот я здесь, в чужом теле, у чужого костра, с чужим именем, которое только что произнесла чужим голосом.

Была. Я была. Она. Не он. Я помню своё тело – мягкое, лёгкое, с другой тяжестью, с другим центром. Помню, каково это – быть женщиной. А сейчас я сижу в теле мужчины, тяжёлого, зелёного, с клыками и шрамами, и это тело чувствует себя... правильно. Как будто оно было моим всегда. И от этого хочется выть, потому что это неправда, это не моё, я не это, но тело не знает об этом и не хочет знать.

Ещё шаги. На этот раз другие – тяжелее, ровнее. Мужские. Я слышу их раньше, чем вижу, и тело снова напрягается, но на этот раз по-другому: плечи расправляются, подбородок поднимается. Другой человек – другая реакция. Я не управляю этим. Я просто наблюдатель в собственном – не в собственном – теле.

Из темноты выходит орк. Старше, шире в плечах, с седой прядью в тёмной косе. Лицо покрыто шрамами – старыми, белыми, паутиной по левой щеке. Он останавливается в двух шагах от костра и бьёт кулаком в грудь. Приветствие, понятное без слов.

– Вождь, – говорит он. Голос низкий, ровный. – Дракх шевелится у границ. Разведчики видели три отряда за перевалом. Старейшины ропщут.

Я смотрю на него. Дракх. Перевал. Старейшины. Каждое слово – пустой звук. Я не знаю, кто такой Дракх. Не знаю, где перевал. Не знаю, какие старейшины и почему они ропщут. Я киваю. Кажется, этого достаточно, потому что он продолжает.

– Мортаг считает, что нужно собрать совет. До того, как Дракх перейдёт Кривой Ручей.

Мортаг. Это, видимо, он. Или кто-то другой, кого он называет в третьем лице. Я не знаю. Я молчу. Он ждёт ответа. Я чувствую, как он ждёт – в тишине между его последним словом и моим молчанием есть вес, давление. Он ждёт приказа. Решения. Чего-то, что вождь должен сказать.

Я киваю снова. Медленнее. Он смотрит на меня, и в его глазах что-то меняется – не подозрение, нет. Скорее замешательство. Он ждал чего-то другого. Слов, может быть. Или действия. Я не даю ни того, ни другого.

– Сколько разведчиков? – спрашиваю я.

Голос звучит ровно. Тяжело. Как у того, кто привык задавать вопросы и получать ответы. Может, тело помогает. Может, мне просто везёт.

Мортаг моргает. Чуть. Едва заметно. Вопрос его удивил – и я это вижу, и понимаю, что задал не тот вопрос. Или не в той последовательности. Или не то, что обычно спрашивает Гроннар.

– Трое, – говорит он. – Двое вернулись. Один нет.

Я жду. Он ждёт. Тишина между нами заполняется треском костра и запахом дыма. Потом Мортаг бьёт кулаком в грудь снова и уходит. Шаги удаляются. Я остаюсь один.

Трое разведчиков. Двое вернулись. Один нет. Я не знаю, что это значит – много это или мало, плохо или хорошо, повод для войны или для ужина. Я не знаю ничего, и это незнание давит, как каменная плита на груди.

Я смотрю на угли и вдруг понимаю, насколько беспомощен в мелочах. Костёр прогорает, но я даже не знаю, где лежат дрова и должен ли вождь сам их подбрасывать. Вчера такие вопросы казались бы смешными. Сейчас каждый из них может выдать меня.

Тело хочет спать. Глаза слипаются, плечи тяжелеют, и я понимаю, что могу уснуть прямо здесь, у костра, на земле, и тело не будет возражать. Оно привыкло. Оно знает, как спать на земле, в холод, с мечом под рукой. Я – не знаю. Я спала в кровати. С подушкой. С одеялом. С телефоном на тумбочке.

Была. Опять была. Она. Прошлое, которое всё дальше с каждым вдохом.

Я ложусь. Земля холодная, жёсткая. Мех на плечах тёплый, тяжёлый. Я закрываю глаза и вижу темноту, густую и тёплую, и в этой темноте нет ни вечеринок, ни телефонов, ни света. Только запах дыма, земли и медленное, тяжёлое сердце, которое бьётся как мотор, настроенный на другой ритм.

Не мой ритм.

Пока.

Я засыпаю с этой мыслью, и она последняя, и от неё почему-то легче, а не страшнее, и я не знаю, хорошо это или плохо, и у меня нет сил думать об этом.

Утро приходит без солнца. Серый свет, тяжёлый, как мокрая тряпка, ложится на лицо. Я открываю глаза и вижу небо – низкое, затянутое облаками. Пахнет дождём, мокрой землёй, дымом от потухшего костра. Тело затекло за ночь – плечо ноет, шея не поворачивается, но стоит мне пошевелиться, как всё отпускает, мышцы разминаются сами, и боль уходит за три секунды. Тело знает, как просыпаться на земле.

Я сажусь. Руки те же. Зелёные, тяжёлые, с мозолями. Вчера это казалось сном. Сегодня – нет. Сегодня это просто утро, и руки просто мои, и я не знаю, что с этим делать.

Вокруг – лагерь. Я вижу его впервые при свете. Шатры из шкур, низкие, потёртые. Дым от костров. Орки – мужчины, женщины, дети – двигаются между шатрами, и каждый, кто проходит мимо, бьёт кулаком в грудь. Мне. Вождю. Я киваю в ответ и молчу, и каждый раз, когда киваю, чувствую, как чужой взгляд скользит по моему лицу и уходит. Никто не останавливается. Никто не смотрит дольше, чем нужно.

Кроме Ирги.

Она стоит у соседнего костра, греет руки и не отводит взгляда, когда я смотрю в ответ. В её лице нет ни подозрения, ни привычной настороженности – что-то другое. Я не могу это назвать, и именно поэтому мне тревожнее.

Я отвожу глаза первым. Не она. Я. И от этого по лицу идёт жар, и челюсть сжимается, и тело подаётся вперёд, и я заставляю себя остаться на месте.

Тяжёлые руки. Чужие шрамы. Чужой огонь, чужой клан, чужое имя.

Завтра – нет, уже сегодня – придётся быть Гроннаром не перед двумя. Перед всеми. И у меня нет ни одной репетиции.

Глава 2. Маска

Ирга подходит, когда я ещё не успел встать. Чаша в её руках – деревянная, с трещиной по краю, отполированная ладонями до блеска. Похлёбка. Пахнет жиром, копчёным мясом, чем-то горьким – травы, может быть. Желудок сводит так, что я забываю про всё остальное.

Она протягивает чашу обеими руками. Ладонями вверх. Глаза в сторону. Жест – не предложение, а ритуал. Подчинение, но не то, которое я знаю. Не «на, возьми», а «я отдаю, и ты принимаешь, и между нами – расстояние, которое положено».

Я тянусь правой.

Она вздрагивает.

Секунда, может, две. Я вижу, как её пальцы чуть сжимаются на дереве, как желтеют костяшки, и понимаю: неправильно. Она заметила мою ошибку, а я заметил, что она её заметила.

Перехватываю левой. Чаша тяжёлая, тёплая, и Ирга отдаёт её без сопротивления, но её взгляд – на секунду – скользит по моей правой руке, по пальцам, которыми я обхватил край. Она смотрит так, будто проверяет что-то. Или подтверждает.

Я пью. Жадно, через край, потому что голод – это единственное, что я могу объяснить. Жадно и грубо, так, что похлёбка течёт по подбородку, капает на грудь, и я вытираю её тыльной стороной ладони, и это правильно, это – то, как делают, я это знаю откуда-то из тела, из мышц, из мозолей.

Ирга не уходит. Стоит. Смотрит в сторону – на костёр, на дым, на что-то за моим плечом. Но не уходит.

Я дохожу до дна. Ставлю чашу на землю. Поднимаю глаза.

– Ещё?

Молчу. Не потому, что обдумываю ответ, а потому, что не знаю, как здесь принято отвечать на вопрос «ещё». Кивнуть? Сказать «да»? Промолчать – и она сама решит?

– Ещё, – говорю.

Ирга кивает. Берёт чашу. Уходит. Я слежу за тем, как она движется между шатрами – ровно, без спешки, спина прямая, плечи развёрнуты. Она не оглядывается.

Руки пахнут жиром и дымом. Правая рука. Гроннар берёт правой. Я это уже должен знать. Тело знает – я нет. Разница между «тело» и «я» – это та трещина, в которую однажды провалюсь.

Мортаг приходит без стука. Я слышу его шаги – тяжёлые, ровные, с паузой перед входом, но без остановки. Он входит, и я вижу: плечи развёрнуты чуть шире, чем вчера. Подбородок выше. Он пришёл не спрашивать. Он пришёл проверять.

– Совет на полдень, – говорит он. Голос сухой, как трещина в дереве. – Старейшины ждут. Вождь назовёт имена тех, кто пойдёт в дозор на Чёрный перевал.

Чёрный перевал. Я не знаю, где он. Не знаю, что там. Не знаю, кто должен идти и почему.

– Ирга назовёт, – говорю.

Мортаг смотрит на Иргу. Ирга стоит у входа, чуть позади меня, и я не вижу её лица, но вижу, как Мортаг задерживает на ней взгляд – на секунду дольше, чем нужно. Он ждёт, что она скажет что-то. Что-то, что подтвердит или опровергнет. Она молчит.

Мортаг кивает. Разворачивается. Уходит. В дверях – не оборачивается. Я жду, что он скажет что-то ещё, что-то, что даст мне зацепку, но он просто уходит, и от его молчания тяжелее, чем от его слов.

Ирга стоит за спиной. Слышу её дыхание – ровное, контролируемое. Она ждёт.

– Ирга.

– Да, вождь.

– Перечисли. Кто силён. Кому верить. Кто ждёт, что я оступлюсь.

Ратта – дозорный, быстрый, тихий, знает перевал лучше всех. Торн – тяжёлый, надёжный в строю, но медленный на подъёме. Вельк – молодой, горячий, дерётся хорошо, но не думает. Хальд – старый, хитрый, держит южный фланг, и если его не задеть, будет молчать. Гриза – женщина, лучница, бьёт на сто шагов, но не переносит холод. Дальше – имена, имена, имена, связи, счёты, обиды, долги, кровная вражда. Я слушаю и понимаю: запомнить всё невозможно. Слишком много. Слишком глубоко. Каждый – со своей историей, со своим счётом к кому-то, со своей правдой.

– Повтори.

Ирга повторяет. Без раздражения, без удивления. Тем же голосом. С теми же именами. Я ловлю себя на том, что смотрю на её руки – она загибает пальцы, когда перечисляет. Безымянный, мизинец, средний. Она считает на пальцах. Я тоже так считаю.

– Ратта, – говорю я. – Ратта пойдёт первым.

Ирга замолкает. Середина фразы обрывается, и в этой паузе – что-то, что я не могу пропустить. Не тишина. Замирание. Как будто кто-то перестал дышать.

– Как скажешь, вождь.

Ирга отвечает слишком ровно. Когда я оборачиваюсь, она уже отвернулась к выходу; спина прямая, а ткань между лопатками натянута так, будто мышцы сведены усилием воли.

Ратта – её брат. Я не знаю, откуда я это знаю. Не из её слов – она не сказала. Может, из паузы. Может, из того, как она замолчала. Может, из чего-то, что тело Гроннара помнит, а я – нет.

Но я знаю. И уже сказал. И назад – нельзя.

Дорога к совету – тридцать шагов от шатра до костровой площадки, где старейшины сидят на брёвнах. Я иду, и лагерь живёт вокруг меня – стук топора, треск костра, детский крик где-то за шатрами, лай собаки. Всё это идёт мимо, как фон, как шум, и я иду сквозь него, и каждый, кто попадается навстречу, бьёт кулаком в грудь. Мне. Вождю.

Я киваю. Один. Второй. Третий. Четвёртый. Каждый кивок – как монета, которую бросают в прорубь: не видно, где дно.

Молодой воин – с разбитым носом, со шрамом через всю щеку – не бьёт в грудь. Он стоит у костра, и когда я прохожу, он не опускает голову. Смотрит прямо. Смотрит снизу, и в его взгляде нет ни страха, ни уважения. Что-то другое. Что-то, от чего чужие плечи разворачиваются сами.

Тело делает это без меня. Разворот плеч – медленный, тяжёлый. Подбородок опускается. Смотрю сверху вниз. И чувствую, как чужие мышцы напрягаются в определённом рисунке – шея, челюсть, предплечья. Угроза. Не в словах, не в жесте – в позе. В том, как тело занимает пространство, как оно говорит без слов: я могу, и ты это знаешь.

Воин бледнеет. Зелёная кожа сереет на секунду. Он отступает – шаг, полшага, – и опускает голову. Опускает.

И я иду дальше, и сердце бьётся ровно, и чужие мышцы расслабляются, и я понимаю: мне понравилось. Не власть. Не страх в его глазах. Понравилось, как тело сделало это само – без слов, без мысли, без решения. Понравилось, как просто. Как естественно.

Это пугает. Не так сильно, как должно. Не так сильно, как вчера пугало чужое лицо в луже. Потому что вчера я боялся чужого тела, а сегодня – боюсь, что оно начинает становиться моим.

Совет. Пять брёвен в кругу. Четыре старейшины – Мортаг, Хальд, ещё двое, которых Ирга не назвала, и я не знаю их имён. Они сидят, и я сажусь напротив, на камень, который ниже брёвен, и от этого я смотрю на них снизу. Или так положено. Или нет. Я не знаю.

Ирга стоит за спиной. Я слышу, как она не дышит.

Мортаг говорит о перевале. О дозоре. О том, что Чёрный Клык двигает заставы ближе. О том, что нужно три воина – один впереди, двое на тропе. Он говорит, и я слушаю, и каждое слово – это вопрос, на который я должен ответить. Но он не спрашивает. Он говорит.

– Почему Ратта первым? – спрашивает Хальд. Старый, с лицом, как мятая кожа. Голос – скрип.

Молчу.

Молчу дольше, чем нужно. Молчу, и молчание работает – я вижу, как старейшины переглядываются. Мортаг чуть наклоняет голову. Хальд откидывается на бревне. Ещё один, которого я не знаю, смотрит на Мортага. Мортаг не смотрит ни на кого.

Они решают, что у вождя есть причина. Что молчание – не слабость, а вес. Что за этим именем – замысел, который им не дано знать.

Ни один из них не прав. И все правы. Молчу правильно – вождь мудр. Молчу не вовремя – вождь слаб. Разницы нет. Разница только в том, кто решит первым.

– Ратта знает перевал, – говорю наконец. – Ратта пойдёт первым.

Голос чужой. Низкий, ровный. Тело орка говорит за вождя, и я почти не участвую.

Хальд кивает. Мортаг кивает. Ещё двое кивают. Совет окончен. Они встают, и я встаю тоже, и мне хочется сесть обратно, потому что ноги не держат – но тело держит. Тело стоит. Тело уходит.

Ирга догоняет меня на полпути к шатру. Шаги за спиной – быстрые, неровные. Она идёт за мной, и я слышу, как она ускоряется, как расстояние между нами сокращается, и чужое тело знает это расстояние лучше, чем я.

– Вождь.

Я останавливаюсь. Не оборачиваюсь.

– Ратта – мой брат, – говорит она. Голос тихий, без упрёка. Без вопроса. Просто факт, положенный между нами, как нож на стол. – Ты знала.

Молчу.

Она ждёт. Секунду. Две. Три. Потом – кивает. Я слышу, как воздух выходит у неё из лёгких, – не вздох, а выдох. Как будто она что-то решила. Как будто молчание – это ответ, и она его приняла.

Шаги удаляются. Ровные, неспешные. Она уходит, и я стою один, и небо низкое, серое, и от костров тянет дымом, и руки – тяжёлые, зелёные, с мозолями, которые я не наживал.

Маска не треснула. Хуже. Она вплавилась в лицо. Снять – значит содрать кожу. А под кожей – я не знаю, что. Может, Гроннар. Может, никто. Может, кто-то, кто ещё не родился и не решает, кем быть.

Я сжимаю правую руку. Кулак тяжёлый, костяшки – жёсткие, гладкие. Чужой кулак. Мой кулак. Разницы почти нет. Почти.

Глава 3. Клыки и слова

Утро приходит не светом – дымом.

Костры не гасли ночью. Кто-то поддерживал их, подбрасывал сухой вереск, и теперь низкое серое небо висит над лагерем как крышка котла, и под этой крышкой коптится всё: шатры, колья, земля, орки. Я выхожу из шатра первым делом, потому что лежать больше не могу. Сон не пришёл. Тело Гроннара не нуждается в восьми часах – оно выспалось за четыре, и оставшееся время я лежал, слушая, как бьётся чужое сердце. Ровно. Терпеливо. Как будто оно ждало, когда я наконец встану и начну.

Начну что?

Лагерь живёт. У крайнего костра кто-то точит клинок – долгий, скрежещущий звук въедается в зубы. Двое воинов несут бревно на плечах, и я отступаю в сторону, но не туда – тело шагает влево, в тень, и бревно проходит мимо, и один из воинов поднимает голову, видит меня, и взгляд его на секунду становится стеклянным. Он опускает голову. Оба идут дальше.

Я стою в тени шатра и смотрю, как лагерь шевелится вокруг меня, как живой организм, в котором я – что? Сердце? Нет. Скорее кость, которая сломалась, и организм ещё не решил, срастить её или отторгнуть.

Старейшина у костра – Хальд, узнаю по сутулым плечам и длинной седой косе. Он сидит один, ковыряет что-то в миске. Мне нужно пройти мимо. Нужно кивнуть – коротко, как кивают старейшинам, не останавливаясь. Жест, который Гроннар делал тысячу раз. Жест, который я никогда не делал.

Иду. Ноги тяжёлые, но шаг ровный – тело помнит. Плечи развёрнуты. Голова прямая. Хальд поднимает глаза, и я киваю.

Тело кивает иначе.

Тело кивает иначе. Глубже. С разворотом правого плеча, с едва заметным наклоном вперёд – и я не успеваю это остановить, потому что всё происходит быстрее мысли. Миска и ложка в руках Хальда замирают. Он смотрит на меня снизу вверх, и в его глазах – не уважение. Не покорность.

Страх.

Он опускает голову. Быстро, рывком, будто получил приказ. И я иду дальше, и спина у него – я не оборачиваюсь, но чувствую – напряжена, и он не дышит, и не будет дышать, пока я не отойду на десять шагов.

Десять шагов. Я считаю. На одиннадцатом – выдох за спиной. Слышный.

Что это был за жест? Кивок, после которого убивали? Кивок, которым вождь отмечал кого-то – не для разговора, а для ножа? Я не знаю. Тело знает. Тело не сказало.

Лагерь обманывает меня на каждом шагу. Всё выглядит знакомым – костёр, еда, оружие, – и всё чужое, потому что я не знаю ни одного правила. Вот женщина у крайнего шатра: она несёт вязанку хвороста и видит меня, и останавливается, и ждёт. Чего? Кивнуть? Взять хворост? Пройти мимо? Я прохожу мимо, и она выдыхает – но выдох другой, чем у Хальда. Не страх. Разочарование? Облегчение? Я не умею читать этих людей, и каждый шаг – лотерея.

Воин у кольев – молодой, с полосами тёмной краски на скулах – подходит и говорит, не глядя в лицо:

– Вождь. Дозорные на западной тропе слышали шаги. Может, разведка Чёрного Клыка. Может, зверьё. Ракка ждёт приказа.

Приказа. Какого приказа? Усилить дозор? Выслать отряд? Послать Раггу проверить? Я молчу. Молчу, как вчера, и это работает – воин стоит, и ждёт, и не решает, что думать. Но молчание не может работать вечно. Когда-нибудь кто-то решит, что вождь молчит, потому что не знает. И тогда – не нож в спину. Хуже. Вопрос. Вопрос вслух, при других.

– Ратта идёт, – говорю. – С тремя. Доложит к закату.

Слова приходят откуда-то из-под рёбер. Чьи-то – то ли тела, то ли памяти, которая не моя, но живёт в мышцах и костях и выталкивает звуки через горло, когда я не успеваю подумать. Воин кивает и уходит. Я стою и не знаю, правильно ли сказал. Может, Ратта должен идти с пятью. Может, с десятью. Может, не Ратта.

Ко второму костру меня зовёт горький, травяной запах. Пьют что-то из общего котла. Подхожу. Орк с разбитым носом, имени которого я не знаю, протягивает мне чашу. Деревянную, обожжённую, с трещиной. Я беру. Жидкость горькая, тёплая, пахнет хвоей и чем-то кислым. Пью. Желудок принимает. Тело знает этот напиток – глоток ровный, без задержки, без гримасы. Тело пьёт, как пьёт вождь, и я чувствую, как тепло разливается по грудной клетке, и на секунду – на одну секунду – мне хорошо.

Потом чаша пуста, и орк с разбитым носом смотрит на меня, и я не знаю, что сказать. Спасибо? Вождь не говорит спасибо. Вождь кивает – и я киваю, осторожно, только головой, без плеча, без разворота, и орк кивает в ответ, и всё нормально, и я отхожу, и колени подрагивают, но тело гасит дрожь, и снаружи её не видно.

Мортаг находит меня у центрального костра, где ещё остались воины после раздачи хлеба. Он не прячет голос, не отводит в тень – говорит громко, ровно, чтобы слышали все, кто греется рядом:

– Вождь. На южной границе трое стоят вторую ночь без смены. Они устали. Нужно сменить.

Я молчу, а Мортаг ждёт. Вчера пауза сыграла мне на руку; сегодня она уже звучит иначе. Я перебираю ответы и не нахожу ни одного. Даже привычная мышечная память не подсказывает. В итоге молчание становится единственным ответом, хотя я его не выбирала.

Мортаг стоит. Проходит несколько секунд. Воины у костра перестают есть. Ложки замирают над мисками. Никто не смотрит на меня прямо, но я чувствую их внимание – тяжёлое, липкое, как дым. Они слышат моё молчание. Они видят, как плечи Мортага опускаются на полпальца, как он отступает назад на один шаг.

– Понял, – говорит он. Голос сухой, ровный. Уходит.

И тишина остаётся. Не моя – общая. Воины переглядываются. Кто-то тихо ставит ложку. Кто-то отодвигает миску. Я стою у огня и понимаю: они всё решили за меня. Мортаг спросил при всех. Вождь промолчал при всех. Значит, вождь злится. Значит, дозор не сменят. Значит, вождь что-то задумал.

Ничего я не задумал. Я просто не знал, что ответить. Но теперь это знает весь лагерь.

Ирга появляется, когда я возвращаюсь к шатру. Не идёт за мной – просто стоит у входного полотнища, как будто ждала. Может, ждала.

– Вождь, – говорит она. – Хальд просил передать: кузнецу нужна руда. Возить или ждать?

– Подожди, – говорю я скорее себе, чем Ирге. Нужно понять, о какой руде вообще речь. – На сколько дней её осталось?

Ирга смотрит на меня. Секунду. Две. И в её взгляде – что-то мелькает, неуловимое, как искра в золе. Я вижу, что оно есть, но не успеваю схватить, понять, что именно. Не страх. Не покорность. Что-то, от чего хочется проверить себя, свои слова, свою память.

– На три дня, – спокойно отвечает она. – Если кузнец не врёт.

– Пусть везут, – говорю.

Она кивает. Уходит. Я смотрю ей вслед и не понимаю, что только что произошло. Она проверяла меня? Или проверяла, что я помню? Откуда мне знать, сколько руды нужно кузнецу? Откуда мне знать, кто возит? Куда?

Ирга уходит ровным шагом, и я стою, и мне хочется сесть, но сесть нельзя – вождь не садится у входа в шатёр посреди дня, вождь стоит, и тело стоит, и ноги держат, и солнце – серое, тусклое – ползёт по низкому небу.

Хлеб раздают у центрального костра. Старая орчиха – я не знаю её имени – отделяет кусок от круглой лепёшки и протягивает мне. Левой рукой. Я беру. Правой.

Она сплёвывает.

Не в лицо. В сторону. Но так, что слышат двое воинов у котла. Они смотрят. Отводят глаза. Один говорит что-то другому – тихо, коротко. Второй кивает.

Я стою с хлебом в правой руке и не понимаю. Потом – понимаю. Не той рукой. Нужно было левой. Левой – потому что правая рука вождя для оружия, для приказов, для жестов, которые Хальд сегодня утром принял за смертный приговор. Хлеб брать левой. Все знают. Все, кроме меня.

Старая орчиха уходит. Не оборачивается. Лепёшка тёплая, шершавая, пахнет золой и чем-то кислым. Я кладу её на край кострового камня. Не ем. Аппетит пропал, хотя тело голодно – оно всегда голодное, этот желудок – бездонная яма, которая никогда не заполняется, и я уже привык, что голод стал фоном, как шум реки за холмом.

У кольев – южных, не тех, где Мортаг – молодые воины меряются силой. Трое. Один – широкоплечий, с туповатым лицом, хватает другого за поясницу и тянет, и тот вырывается, и они сцепляются, и третий стоит рядом и хмурится, и все трое – молодые, сильные, глупые, и они не знают, что я стою в десяти шагах.

Тело откликается.

Не я. Тело. Мышцы предплечий напрягаются – я чувствую, как твердеют пучки под кожей, как плечи сами разворачиваются, как дыхание перехватывает – и не отпускает. Это не моё решение. Не мой рефлекс. Тело Гроннара смотрит на бой и знает. Знает, как захватить широкоплечего за горло, как выбить ногу, как развернуть и бросить. Руки помнят хватку, которой разум не обучался.

Мне страшно. Не воины страшны. Страшно то, что тело умнее меня. Тело знает этот мир, знает, как в нём двигаться, как стоять, как кивать, как пить, как хватать. Тело – правильное. А я – нет. Я – лишнее. Я – то, что тормозит, путает, берёт хлеб не той рукой, молчит не в те моменты, кивает не так.

Тело хочет драться. Я хочу домой.

Дома нет. Дома – это квартира на девятом этаже, окно на автостоянку, чайник на кухне, книги на полке. Дома – это руки, которые держали кружку, а не меч. Голос, который не командовал никем. Жизнь, в которой не нужно было знать, какой рукой брать хлеб.

Я отхожу от кольев. Воины не заметили меня. Хорошо. Плечи опускаются – медленно, не мои, тело само, и я позволяю ему, потому что не могу сопротивляться всему сразу. Не могу контролировать кивки, и шаги, и руки, и молчание, и голод, и страх, и память, которая не моя.

Костёр. Тот же, у которого утром. Хальда нет – ушёл. Миска пустая, лежит на бревне, и ложка рядом, и пепел. Я сажусь. Не на бревно – на землю, у костра. Жар сбоку, тёплый, руки лежат на коленях, тяжёлые, почти мои.

Воин проходит мимо. Тот, с которым я утром разошёлся у бревна. Он видит меня – и отводит взгляд. Не сразу. Сначала смотрит, потом отводит. Осторожно. Как будто я – вещь, которую нельзя трогать, но и смотреть долго – нельзя.

Ещё один. И ещё. Три воина за минуту, и все ведут себя одинаково. Смотрят. Отводят. Не из страха. Из осторожности. Из того, что появилось сегодня – не вчера, не утром, а сегодня, пока я ходил от костра к костру и кивал не так, и молчал не так, и брал хлеб не той рукой.

Что-то изменилось. Я не знаю, что именно. Слова? Жесты? То, как Мортаг ушёл? То, как старая орчиха сплюнула? То, как Хальд замер над миской? Может, всё вместе. Может, ничего из этого – может, они просто увидели то, что видели всегда, но сегодня решили, что видеть – опасно.

Тело знает. Плечи опускаются ниже, и я не мешаю им, потому что это – поза, которую Гроннар принимал, когда клан переставал быть его. Я не знаю, откуда я это знаю. Не из памяти

– из тела. Из мышц, из костей, из тяжести, которая ложится на плечи, как ярмо. Тело говорит мне то, чего разум не понимает: клан отворачивается. Не от врага – от вождя. И когда вождь перестаёт быть их вождём, они не убивают его сразу. Сначала перестают смотреть.

Огонь в костре низкий. Пепел серый, тёплый. Руки на коленях. Чужие руки, чужой огонь, чужой клан, который отворачивается – не ненавидит, не боится, просто перестаёт узнавать. И я сижу, и тело сидит правильно, и поза правильная, и всё – правильно, кроме меня.

Вечер придёт. С ним – Ратта с донесением, и нужно будет решить, что делать с тем, что он скажет. Мортаг придёт – или не придёт – и его отсутствие будет ответом. Ирга будет рядом, и её расчётливый взгляд – рядом, и хлеб нужно брать левой, и кивать нужно головой, и молчать нужно вовремя, и всё это – не моё. Ни одного из этих умений – ни одного – у меня нет.

Но у меня есть тело: оно кивает как убийца, пьёт как вождь и хочет драться, когда я хочу бежать. Оно умнее, сильнее, правильнее меня – и всё ещё не моё. Почти моё.

Огонь догорает. Угли красные, низкие, и тепло уже не греет – только напоминает, что когда-то грело. Я сижу и жду ночи, как ждут приговора.

Тело сидит правильно. Поза правильная. Руки на коленях. Плечи опущены. Всё – как должно быть у вождя, который потерял клан. И я думаю: может, так и надо. Может, тело знает лучше. Может, мне нужно просто перестать мешать ему быть тем, кем оно было, и позволить этому чужому, правильному, умному существу дожить эту жизнь до конца.

А я – исчезну. Растворюсь в дыме, в пепле, в молчании, которое принимают за мудрость или за гнев. Стану тенью внутри тени.

Но пока я здесь – я буду пытаться. Брать хлеб левой. Кивать головой. Молчать вовремя. И надеяться, что когда-нибудь тело разрешит мне остаться.

Глава 4. Чужой среди своих

Ночь приходит запахами: влажная земля, остывающий камень, мокрая шерсть у входа. Где-то долго и тяжело кашляют. Гроннарово тело узнаёт этот звук и не тревожится. Для меня он новый.

Я не сплю. Тело выспалось, и это не метафора – мышцы наполнены, сухожилия гудят тихо, как натянутые струны, и сон не идёт. Четыре часа. Четыре часа назад я лёг, и всё это время лежал на спине, слушая, как чужое сердце качает кровь. Ровно. Терпеливо. Сердце, которому всё равно, кто им управляет.

Рассвет растекается по лагерю серым молоком. Дым от ночных костров висит низко, скрывая вершины деревьев; шатры, колья и фигуры орков проступают из него по частям. Запах уже въелся в гроннарову кожу так глубоко, что никакое утро его не выветрит.

Лагерь просыпается молча: орки садятся, разминают руки, с хрустом поворачивают шеи и только потом встают. Утро здесь не для разговоров.

Ирга появляется от второго костра. Чаша в руках – деревянная, с трещиной по краю. Я уже видел эту чашу. Вчера. Похлёбка, запах жира, горькие травы. Желудок сводит, и тело откликается раньше, чем я успеваю подумать: челюсть сжимается, ноздри раздуваются. Голод. Не мой голод – тяжёлый, тупой, требовательный, голод тела, которое привыкло к утренней еде и не терпит отсрочки.

Она подходит. Останавливается в трёх шагах. Протягивает чашу.

Она подходит, останавливается в трёх шагах и подносит чашу обеими руками, ладонями вверх, отведя глаза. Теперь я понимаю: это не просто подача еды, а установленное расстояние между вождём и тем, кто служит.

Я беру чашу левой рукой.

Левой.

Вчера я сначала потянулся правой, а потом, испугавшись её реакции, перехватил чашу левой. Но Гроннар – правша: правая рука тяжелее, мозоли на ней глубже, а шрам на предплечье – от удара, который правша блокирует справа. Я уже знал это. И всё равно снова выбрал левую.

Ирга поднимает глаза. Не как обычно – мимо, в сторону, на землю. Прямо. На меня. Зрачки сужаются. Узкие, как щели, и в них – не страх, не удивление. Расчёт. Быстрый, цепкий, как хватка хищника, который увидел дичь не там, где ожидал.

Одна секунда. Одна ошибка. Годы службы, ритуалов и привычек – и я ломаю всё одной рукой. Левой. Тупой, безмозглой, чужой левой рукой, которая потянулась к чаше потому, что тело устало ждать правую.

Я понимаю это слишком поздно. Пальцы уже на глиняном крае. Чаша уже в моей руке. Ирга уже видит. И я не могу разжать пальцы и протянуть правую – это будет заметнее, чем ошибка. Это будет признание.

Я подношу чашу ко рту. Пью. Вкус тот же – жир, копчёное мясо, горечь. Но сегодня в похлёбке что-то ещё. Не трава. Не соль. Острота, которая появляется на языке и остаётся, жжёт нёбо, и я не знаю, что это. Не знаю, должно ли так быть. Вчера этого не было.

Ирга стоит. Ждёт. Глаза уже не на мне – снова в сторону, снова на землю. Но поза другая. Чуть развёрнута плечами. Чуть шире стойка. Не подчинение. Оценка.

– Воды принести? – спрашивает она.

В голосе Ирги ничего не меняется, зато меняется сам вопрос. Вчера она не спрашивала, а просто приносила воду как часть ритуала. Сегодня предлагает выбор. Для подчинённой это почти демонстративное отступление от правил.

– Принеси, – говорю я.

Голос Гроннара – низкий, хриплый, утренний. Я учусь им пользоваться. Короткие слова. Меньше звуков. Рот орка формирует гласные иначе – шире, глуше, и если говорить быстро, слова слипаются в рык. Медленно. Отдельно. Как камни, которые кладут один на другой.

Ирга уходит. Я стою с пустой чашей и думаю: она знает. Не уверен. Не «знает» – подозревает. Достаточно, чтобы изменить ритуал. Достаточно, чтобы проверить. Недостаточно, чтобы убить.

Пока.

День начинается с Мортага. Он подходит, когда я допиваю воду из общего ковша у центрального костра, а не из чаши Ирги. Вода тёплая, с дымным привкусом. Мортаг встаёт в двух шагах, и я чувствую его раньше, чем вижу – тень справа, запах кожи, выделанной не так, как у остальных, с добавлением чего-то кислого.

Мортаг – старый орк. Не старый по человеческим меркам – по орочьим. Шрамы на лице белые, старые, втянутые в кожу так, что кожа вокруг них темнее. Левый клык обломан на две трети. Правый – целый, желтоватый, сточенный снизу. Он не смотрит мне в глаза. Он смотрит на шею. На руки. На ноги. Считает.

– Вождь, – говорит он. – Дракх ждёт ответа.

Я не понимаю, о каком ответе говорит Мортаг. Тело не помогает словами: только расправляет плечи и стискивает челюсть, как делало, вероятно, всякий раз, когда Гроннару задавали неудобный вопрос. Мортаг читает позу как гнев и угрозу. Я же просто пытаюсь выиграть несколько секунд, чтобы понять, что от меня хотят.

– Какой ответ? – произношу я без вопросительной интонации. Рык. Низкий, короткий. Тело умеет формировать голос так, что тот звучит как угроза, даже когда за ним нет ничего, кроме растерянности.

Мортаг не отступает. Он смотрит на мою шею. Потом – на руки. Я замечаю, что пальцы правой сжались. Когда? Не знаю. Тело сжало их без меня.

– Ультиматум Дракха, – говорит Мортаг. Голос ровный, без интонации, как отчёт. – Спорные земли к лету – или кровь. Совет ждал решения с новолуния. Новолуние прошло. Дракх не любит ждать.

Спорные земли. Ультиматум. Новолуние. Слова, которые мне ничего не говорят. План существовал до меня. План, который Гроннар знал, обсуждал, может быть, формулировал. А я – нет. И сейчас стою перед Мортагом, и тело делает вид, что думает, а голова пустая.

Я молчу. Это единственное, что я могу. Молчать. Тело помогает – молчание орка звучит не как молчание человека. Оно плотное. Тяжёлое. Заполняет пространство, как вода заполняет трюм. Мортаг ждёт. Я молчу. Секунды идут, и я чувствую, как между нами растёт что-то – не напряжение, а вес. Вес молчания, которое клан читает как раздумье. Или как ярость. Или как презрение к тому, кто смеет торопить вождя.

Мортаг кивает. Медленно. И уходит.

Я не знаю, правильный ли ответ дал. И ещё меньше понимаю, что сделал бы Гроннар: промолчал, ударил, заговорил? Челюсть каменеет, кулаки сжимаются сами, и со стороны моя растерянность выглядит как гнев. Мортаг видит в этом решение. На самом деле решения нет.

Нет. Есть. Не мой – тела. Тело злится. Не на Мортага – на ситуацию. На что-то, что я не понимаю, что-то, связанное с Дракхом, со спорными землями, с ультиматумом, который висит над кланом, как этот серый дым над лагерем. Тело знает. Тело помнит. А я – нет.

Днём Ирга подаёт воду. Не еду – воду. Кувшин глиняный, тяжёлый, с широким горлом. Она протягивает его, и я замечаю: ладони не вверх. Она держит кувшин за бок, одной рукой, и протягивает, как протягивают вещь – не подачу, а предмет. Как равная равной. Как женщина, которая передаёт воду мужчине, а не служанка, которая подносит вождю.

Проверка. Я понимаю это. Не сразу – через секунду, через две, когда рука уже на кувшине, когда пальцы уже обхватили глину. Она изменила ритуал. Ладони вверх – подчинение.

Ладонь на боку – равенство. Если вождь заметит – значит, он вождь, который помнит ритуал. Если не заметит – значит, он не вождь.

Я замечаю. Поздно. Рука уже на кувшине. Ирга смотрит – не в сторону, не на землю, а прямо. В глаза. И в её взгляде нет ничего. Пустота. Чистая, выжидающая, как замёрзшая вода, которая ещё не решила – треснуть или продержаться до весны.

Он уходит. Медленно. Без поклона. Без удара в грудь. Просто разворачивается и уходит, и его спина – широкая, прямая – не выдаёт ничего. Но шаги – чуть быстрее, чем пришёл. Не бегство. Облегчение. Как у человека, который выходит из комнаты, где едва не случилась беда.

Чуть не случилось что? Не знаю. Может – разоблачение. Может – разговор. Может – ничего. Может, она каждый день меняет ритуал, и Гроннар каждый день не замечает, и это – их молчаливый договор, их игра, их что-то, чего я не понимаю и не пойму, потому что я не он.

Или она проверяла. И я не прошёл. И теперь она знает наверняка.

Вечером Мортаг собирает старейшин. Я вижу это из шатра – вход откинут, и сквозь щель виден крайний костёр, самый дальний, у границы лагеря, где стена вереска смыкается с камнями. Трое. Мортаг стоит, руки за спиной. Двое других – сидят на корточках, и огонь их освещает снизу, и лица – маски из тени и света. Мортаг говорит. Я не слышу слов – слишком далеко, ветер относит звук в другую сторону. Но вижу: его рука поднимается и указывает. На мой шатёр.

Старейшины кивают. Не вместе – по очереди. Один, потом второй. Мортаг опускает руку. Они сидят. Говорят. Я стою у входа в шатёр, и тело стоит так, что изнутри меня не видно – тень падает правильно, вход закрыт тканью до половины, и снаружи кажется, что шатёр пуст. Случайность. Тело выбрало эту позицию само – встать так, чтобы видеть, не будучи увиденным. Гроннар стоял здесь раньше. Не раз. Не для того, чтобы подглядывать – для того, чтобы знать.

Знать что? Что Мортаг собирает старейшин. Что они кивают. Что рука указывает на шатёр вождя. Что заговор ещё не родился, но семя – упало. И земля здесь – плодородная. Дым, пепел, кровь, пролитая на эту землю поколениями, – удобрение. И сомнение, которое Мортаг нёс в себе с утра, с того момента, когда я не ответил ему про ультиматум, – прорастёт.

Я отхожу от входа. Сажусь. Земля в шатре – сухая, утоптанная, и пахнет старым потом и кожей. Коврик на земле – шкура, жёсткая, с остатками шерсти, которая лезет в пальцы, если сжать. Я не сжимаю. Сажусь на неё и слушаю, как сердце бьётся. Ровно. Медленно. Как будто ничего не случилось. Как будто тело не понимает, что сегодня – три ошибки. Левая рука. Изменённый ритуал. Молчание вместо ответа. Три трещины в маске, и каждая – глубже, чем вчера.

Ночь. Лагерь затихает не сразу – сначала угасают голоса, потом шаги, потом кашель, потом храп. Храп стоит над лагерем, как гул пчелиного улья, и я лежу в темноте и слушаю его, и тело расслабляется – плечи опускаются, челюсть разжимается, и я чувствую, как мышцы отпускают напряжение, которое держали весь день. Не я держал. Они. Сами. Без меня. Тело несло меня через этот день, как лошадь несёт всадника, который не умеет ездить – упрямо, терпеливо, по знакомой дороге.

Шорох у входа. Я открываю глаза. Тело уже сидит – рывком, без моего участия, и руки – на земле, пальцы широко, готовые оттолкнуться. Рефлекс. Чужой рефлекс. Моё тело так не умеет. Моё тело – лежит и ждёт, когда станет хуже. Это – вскакивает и готовится.

Полог откидывается, входит Ирга. Без чаши, воды или еды – только с коротким старым ножом в руке. Она медленно кладёт его у входа рукоятью ко мне, лезвием наружу. Я не понимаю жеста, зато плечи сами чуть опускаются, челюсть расслабляется. Гроннар его узнаёт. Значит, когда-то этот нож уже что-то между ними значил.

Ирга садится напротив. Скрестив ноги. Руки на коленях. Ладони вверх. Тот самый ритуал – но на этот раз не подношение. Приём. Она принимает. Что? Меня? Мою судьбу? Мой ответ?

Молчит. Я молчу. Тишина в шатре – плотная, как войлок, и в ней слышно дыхание – моё, тяжёлое, и её, легче. Костёр снаружи трещит, и тени от огня бегают по стенкам шатра, и тень Ирги – длинная, непрерывная, и тень моя – короткая, тяжёлая.

Она смотрит на меня. Прямо. В глаза. И я вижу – не подозрение, не расчёт, не страх. Уверенность. Тихая, холодная, как камень, который лежал на дне реки так долго, что обточился до идеальной формы. Она знает. Не подозревает – знает.

– Ты не он, – говорит она.

Три слова. Без вопроса. Без интонации, которая ждала бы ответа. Констатация. Как диагноз, который врач произносит не пациенту – себе. Факт, который лежал на столе давно, и она наконец подняла его и назвала.

Тело не реагирует. Ни один мускул. Сердце – ровно, тяжело, как будто не слышало. Плечи – на месте. Челюсть – нейтральная. Руки – на коленях. Тело не знает, что делать с этими словами, потому что Гроннар никогда их не слышал. Никто никогда не говорил Гроннару «ты не он». Гроннар всегда был собой. А я – нет.

Я открываю рот. Закрываю. Открываю. Тело не помогает. Тело молчит, потому что для этого момента нет рефлекса, нет памяти мышц, нет привычки. Это – моё. Только моё. И я не знаю, что с этим делать.

Нож лежит между нами, рукоятью ко мне. Ирга ждёт не ответа, а реакции: рывка, рыка, удара – чего-то, что сделал бы загнанный зверь после правды, сказанной в лицо. Гроннарово тело готово к каждому из этих движений. Я пока нет.

Я не вскакиваю. Не рычу. Не бью. Я сижу, и руки мои – на коленях, и я чувствую, как пальцы – чужие, тяжёлые, мозолистые – медленно разжимаются. Не сжимаются. Разжимаются. Пальцы Гроннара никогда так не делали. Это – моё. Мой жест. Моя реакция. Растерянность, которая выглядит как растерянность, а не как гнев, не как мудрость, не как стратегия.

Ирга видит. Её глаза – жёлтые, с вертикальным зрачком – расширяются на секунду. Узнавание. Не меня – того, что не является Гроннаром. Того, что сидит в теле Гроннара и разжимает пальцы, когда нужно сжимать кулаки.

– Нет, – говорю я. – Не он.

Голос – мой. Не Гроннара. Тело Гроннара, горло Гроннара, челюсть Гроннара – но голос – мой. Тихий. Хриплый. С интонацией, которой нет в орочьем языке. С паузой между словами, которая звучит как дыхание человека, не привыкшего к молчанию.

Ирга молчит. Секунду. Две. Три. Три секунды, в которых – ничего. Ни звука, ни движения, ни жеста. Пустота, в которой решается что-то, чего я не вижу и не контролирую. Потом – она кивает. Один раз. Коротко. И встаёт. И уходит. И нож – остаётся.

Глава 5. Ритуал

Нож лежит на коленях. Я не помню, как взял его. Пальцы обхватили рукоять – тяжёлую, обмотанную кожей, с выемками от чужой хватки – и не разжимаются. Тело решило за меня. Тело Гроннара знает, что делать с ножом, когда рядом кто-то уходит молча. А Ирга ушла молча.

Я сижу. Не потому что выбираю сидеть – потому что ноги не слушаются. Не в том смысле, в каком не слушаются у перепившего человека или у того, кто отсидел конечность. Они слушаются. Они просто не двигаются, потому что тело ждёт чего-то, чего я не могу ему дать. Команды. Знака. Инстинкта, который сработает раньше мысли. Его нет. Вместо него – пустота, как в той паузе Ирги, только теперь она внутри, и она длиннее.

Нож тёплый. От моих ладоней или от чего-то другого – не знаю. Лезвие тёмное, старое, кромка не блестит, но я провожу подушечкой большого пальца по ней и чувствую – острое. Очень. Палец не режется, кожа на нём толстая, жёсткая, мозолистая – не моя, но я привыкаю называть её моей, потому что если не называть, то придётся называть чьей-то, а это значит – признать, что внутри меня кто-то чужой. Не внутри. Снаружи. Вокруг. Я – внутри.

Запах тела меняется. Не сам – я меняю. Мо́юсь в ручье. Вода холодная, но Гроннарово тело не дрожит, не сжимается, не протестует. Оно принимает холод как данность – давление снаружи, которое не имеет значения. Кожа под водой зеленеет темнее, шрамы белеют. Я трусь песком, потому что мыла нет. Песок скребёт, забивается под ногти, в шрамы, в складки у клыков. Кровь – старая, чужая – смывается.

Где-то снаружи кашляют. Потом кто-то рычит – коротко, глухо. Не драка. Привычный звук, как скрип двери в квартире, где живёшь давно. Лагерь просыпается, и я должна проснуться вместе с ним, встать, выйти, быть вождём, а я сижу с ножом на коленях и думаю о том, что Ирга сделала, чего я не просила.

Она ушла и оставила нож. Это явно ответ, только вопроса я не задавала. Подарком нож не выглядит, угрозой тоже: Ирга не стала бы угрожать так. Значит, есть третье значение, которое Гроннар понимал без слов. Я пока не могу его назвать, и именно эта неизвестность оставляет внутри пустоту.

Я разжимаю пальцы. Нож лежит на бедре, рукоятью к паху, лезвием к колену. Положение, которое тело приняло само. Я смотрю на него и пытаюсь понять – что бы сделала я? Не Гроннар. Я. Наташа. Наташа, которая... которая где? Которой больше нет? Или которая есть – вот здесь, в этом теле, с этим ножом, с этим лагерем, с этой женщиной, которая ушла молча?

Я беру нож. Сухо, коротко, без церемоний. Убираю за пояс, за спину, туда, где носят. Тело подсказывает – не словами, а тем, как нож ложится в складку кожи, как рукоять прижимается к пояснице, как лезвие не цепляется за одежду. Привычка. Мышечная память, которая работает, как автопилот. Я не решаю – тело решает. Я только наблюдаю и говорю себе, что это мой выбор. Мой. Потому что я разрешила телу выбрать.

Снаружи – шаги. Тяжёлые, ровные, с короткой паузой перед шатром. Пауза – не колебание. Объявление. Кто-то пришёл и хочет, чтобы я знала, что он пришёл, прежде чем войдёт. Мортаг. Я узнаю его шаги раньше, чем он откашливается. Не потому что помню – потому что тело помнит. Ноги, спина, шея – всё слегка напрягается, как перед короткой стычкой, не перед боем, а перед чем-то, что требует внимания.

– Вождь.

Голос Мортага – как его шаги. Ровный. С паузой. Он не входит, пока я не отвечу, и это не вежливость, это обычай, который я нарушу, если скажу «войдь». Или не нарушу. Я не знаю.

– Входи.

Он входит. Низкий, для орка – мне по плечо, хотя я сижу, а он стоит. Широкий, с руками, которые кажутся слишком длинными для тела. Лицо – плоское, старое, шрам через левую

щёку, белый, давний. Глаза – тёмные, почти чёрные, без зрачка в этом свете – просто тёмные провалы, в которых ничего не читается. Мортаг не смотрит на меня. Он смотрит мимо, на полог шатра, и ждёт.

– Вождь, – повторяет он. Не потому что я не ответил. Потому что ему нужно начать с этого слова, чтобы то, что он скажет дальше, звучало не как донос, а как доклад.

Я молчу. Тело молчит. Это – правильно. Я не знаю почему, но это правильно.

Мортаг кивает – себе, не мне – и поворачивается к выходу. Не «идём за мной». Просто поворачивается и выходит. Я встаю. Ноги слушаются – тяжело, медленно, но слушаются. Тело знает, что за Мортагом идут. Тело знает, что утром, когда Мортаг приходит один и молчит – за ним идут.

Мы идём через лагерь. Костры догорают, и над ними вьётся низкий серый дым, стелется по земле, липнет к ногам. Орки – кто спит, кто ест, кто точит оружие – не смотрят на нас. Или смотрят, но так, что я не замечаю. Тело идёт ровно, и я в нём, как в чём-то, что несёт меня, а не наоборот. Мы выходим к краю лагеря, туда, где колья врыты в мёрзлую глину и между ними натянуты полоски кожи – не для защиты, для обозначения. Дальше – не ходят.

Мортаг останавливается. Показывает на землю. Не рукой – подбородком, коротко, как клюёт. Я смотрю.

Следы. Свежие – грязь ещё влажная по краям, не успела схватиться морозом. Кто-то шёл ночью, тяжело, с грузом – глубина больше, чем у обычного шага. Шёл к границе. К той стороне, где Чёрный Клык, где Дракх, где то, чего я не знаю, но тело знает – и напрягается, и руки сами сжимаются, и челюсть каменеет.

– Один, – говорит Мортаг. – Вернулся.

Он не говорит – кто. Не говорит – зачем. Не говорит – что делать. Он ждёт. Ждёт, что вождь скажет. Вождь должен сказать. Вождь знает, что сказать, потому что вождь – вождь, а не потому что он умнее, а потому что титул даёт право решать, и решение – правильное, потому что вождь его принял.

Я молчу. Не потому что выбираю молчание – потому что не знаю, что сказать. Сказать «кто?» – значит признать, что не знаю. Сказать «найди его» – значит дать приказ, не зная, зачем. Сказать «неважно» – значит разрешить, и Мортаг это поймёт, и тот, кто ходил, поймёт, и все поймут – вождь знает и молчит, и молчание – разрешение.

Я молчу. Мортаг ждёт. Секунды. Полминуты. Минуту. Я не считаю, но тело считает, и когда проходит достаточно, Мортаг кивает. Не мне. Себе. И уходит. В его спине – ничего. Ни осуждения, ни одобрения. Но в том, как он ушёл – быстро, не оглядываясь, – я читаю: он решил, что я знаю. Что молчание – не растерянность, а расчёт. Что вождь выжидает, и выжидание – часть плана.

Я стою у края лагеря, смотрю на следы, и мне холодно. Не телу – телу всё равно, оно не мёрзнет при таком морозе, оно создано для этого. Мне – той, что внутри, той, которая помнит, что такое мёрзнуть, и помнит, как это – стоять и не знать, что делать, и делать вид, что знаешь.

Шатёр Вельды стоит в стороне. Шкуры на нём не такие, как на остальных: толстые, тёмные, с выжженными знаками. Запах – ещё до входа. Травы, дым, что-то горькое, что встаёт в горле и не уходит. Тело узнаёт. Плечи опускаются. Не страх – уважение. Или привычка.

Я ищу своё место. Четыре шкуры на земле, четыре позиции, три заняты. Четвёртая – у входа, спиной к пологу. Я иду к ней. Сажусь. Стул – нет, не стул, шкура, подушка, что-то мягкое и плоское – принимает мой вес, и подо мной скрипит что-то, и я вздрагиваю, потому что звук – громкий, громче, чем должен быть, и все трое смотрят, и я сижу, и руки мои – на коленях, и я не знаю, куда деть глаза.

Горнак говорит:

– Сокрушитель. Ритуал крови.

Три слова без вступления: «Ритуал крови». Я не понимаю, что они значат, и впервые тело тоже не выдаёт очевидной реакции. Это пугает сильнее привычной автоматической памяти: либо Гроннар не знал такого ритуала, либо знал слишком хорошо и считал его чем-то обыденным. Я не могу определить, что хуже.

Я киваю. Коротко. Так, как кивала Ирга вчера – один раз, резко, без уточнений. Кивок вождя. Кивок, который – обещание. Я обещаю что-то, чего не знаю. Я обещаю телом, которого нет, что сделаю то, чего не могу.

Горнак принимает кивок. Не улыбается, не кивает в ответ, не говорит ничего. Просто принимает, и его глаза – тёмные, тяжёлые – задерживаются на мне на секунду дольше, чем нужно. На секунду, в которой – вопрос, который он не задаёт вслух.

Двое других молчат. Один ковыряет что-то под ногтем. Другой смотрит в пол. Это – не невнимательность. Это – распределение ролей, которое я не понимаю, но вижу: Горнак говорит, один молчит, третий – не участвует. Три старейшины, три позиции, и я – четвёртая, и моя позиция – у входа, спиной к выходу, и я не знаю, что это значит, но мне не нравится.

– Луна краснеет, – говорит Горнак. – Ритуал – в красную луну.

Я не знаю, когда луна краснеет. Тело – знает. Оно напрягается, и я чувствую, как сжимается что-то в животе, не страх, не тревога – отсчёт. Время, которое пошло. Я киваю снова, и кивок – ещё одно обещание, ещё один камень, который я кладу на плечи, которые не мои.

Совет не заканчивается. Он просто – рассыпается. Горнак встаёт. Двое других – за ним. Они уходят, не оглядываясь, и я сижу у входа, спиной к выходу, и смотрю на пустые шкуры, которые ещё хранят тепло чужих тел. Запах – кислый, старый, тяжёлый. Я вдыхаю его и думаю: это – мой запах теперь. Запах совета, шкур, крови, которая впиталась. Мой.

Ирга входит, когда я ещё сижу. Я не вижу её – слышу. Шаги лёгкие, быстрые, с короткой паузой у входа, которая – не объявление, как у Мортага, а привычка. Она входит, и в руках у неё – чаша. Вода. Протягивает обеими руками, ладонями вверх, глаза в сторону. Тот же жест, то же положение, та же поза, что и вчера с похлёбкой. Ритуал. Подчинение. Расстояние, которое положено.

Я беру чашу. Наши пальцы не касаются. Она отпускает чашу раньше, чем я успеваю обхватить её, и между нами – мгновение, в котором чаша висит в воздухе, ничья, и я держу её, и она не держит, и это – тоже ритуал, тоже значение, тоже что-то, чего я не понимаю.

Пью. Вода холодная, с привкусом железа и земли. Тело принимает её, как топливо – без удовольствия, без отвращения. Просто – принимает.

Ирга не уходит и не смотрит на меня. На левом запястье у неё свежий ровный порез – слишком аккуратный для боевой раны, рядом с венами, но не по ним. Я ничего не понимаю, а Гроннарово тело неожиданно расслабляется, будто видит знакомый знак. Значит, это ритуал. Какой именно – мне ещё предстоит узнать.

– Ирга.

Она поднимает глаза. Секунда. В ней – всё. Ночь, нож, слова, молчание, уход, возвращение. Всё – в одной секунде, в одном взгляде, и я не успеваю прочитать, потому что она опускает глаза снова. Уходит. Без ответа, без кивка, без слова. Просто – уходит.

Чаша – в моих руках. Порез – на её запястье. Нож – за поясом. Я стою в советном шатре, одна, и пахнет кровью и старым потом, и я не знаю, что происходит, но знаю, что что-то изменилось, и Ирга сделала выбор, о котором я не просила, и выбор этот – не мой, но он – на мне, потому что я – вождь, и всё, что происходит в клане, – на мне.

Вечер. Или то, что здесь считается вечером – солнце садится за серую пелену облаков, и свет становится не темнее, а просто – другим. Жёстче. Резче. Тени – длиннее, и в них – больше веса. Я сижу у костра. Моего костра. Тело Гроннара поддерживает огонь – руки сами подбрасывают ветки, сами ворошат угли, сами регулируют тягу. Я наблюдаю. Учусь. Или привыкаю. Или сдаюсь. Разница между этими тремя – меньше, чем мне хочется.

Вельда приходит без звука. Я не слышу её – просто вдруг она сидит напротив, по ту сторону костра, и я не знаю, давно ли она тут. Может быть, минуту. Может быть, десять. Она – маленькая, для орчихи, сухая, с лицом, на котором морщины лежат не как морщины, а как шрамы – глубоко, намеренно. Глаза – светлые, почти белые, и в них – зрачок, который не вертикальный, как у остальных, а круглый, человеческий. Я не знаю, что это значит. Я боюсь узнать.

Она не говорит. Садится. Смотрит в огонь. Достаёт из складок одежды пучок трав – сухих, перевязанных чёрной бечёвкой. Развязывает. Бросает в огонь. Травы шипят, и дым меняется. Не серый – белый. Густой, тяжёлый, он не идёт вверх, а стелется по земле, как вода, и заполняет пространство между нами. Запах – горький, сладковатый, с чем-то, что царапает в носу, как перец. Глаза слезятся. Тело не моргает. Я – моргаю.

Дым меняется снова. Белый – сереет. Темнеет. И в нём – что-то. Не форма, не фигура, не видение. Что-то, что движется, как будто дым стал плотнее в одном месте и легче в другом, и эта разница – не случайность. Вельда смотрит не на огонь. На меня. И я чувствую, как её взгляд – светлый, круглый, не орочий – давит на что-то внутри, что я не могу назвать. Не на тело. Не на мысли. На что-то между, на то, что не имеет органа, не имеет места, но есть.

Слово незнакомо; такого значения нет в словаре, который я принесла из прежней жизни. Но тело знает. Я чувствую это – в том, как пальцы на ноже расслабляются, как челюсть разжимается, как плечи опускаются.

Тело – понимает.

Спина напрягается от шеи до поясницы. Я сижу прямо, жёстко, пальцы на коленях то сжимаются, то разжимаются сами. Челюсть сведена; клыки впиваются в нижнюю губу, во рту появляется вкус крови. И сердце вдруг бьётся быстро. Впервые – не тяжело и размеренно, а часто, по-человечески. Это мой страх. Не тот смутный холод, который приходил раньше, а настоящий: в животе, в горле, в дрожащих руках. Тело узнало слово раньше меня и тоже испугалось. Я – Наташа, не Гроннар, и понятия не имею, что делать с памятью, которой у меня нет.

Вельда уходит. Молча, как пришла. Дым рассеивается, и костёр снова просто костёр – рыжий, тёплый, нормальный. Трава обуглена, пепел чёрный. Всё, как было. Ничего не было.

Нож – на коленях. Я не помню, как достала его. Пальцы обхватывают рукоять, и её выемки точно совпадают с гроннаровым хватом. Моя ладонь повторяет движение прежнего хозяина тела. Я смотрю на нож. Вельда смотрит на меня. Молчит.

Нож можно только использовать. Но для чего – впервые нет подсказки. Все эти дни мышечная память вела меня: как сидеть, как держать хлеб, когда кивнуть, когда промолчать. Теперь внутри пусто. Тело моё, нож чужой, титул чужой, а слово, которое я не поняла, Гроннарово тело всё-таки узнало. Значит, память может вернуться. И тогда мне страшно узнать, кто из нас будет решать.

Глава 6. Дым над водой

Клинок у горла – раньше, чем я успеваю понять, что кто-то вошёл. Нож уже в левой руке – она была ближе. Разворот через бедро, и лезвие оказывается у чужого горла. Тело сделало это само. Я только – присутствую.

Мортаг.

Он не вздрогнул. Стоит, прижатый спиной к столбу, и смотрит. Не на нож – на руку. На то, как я держу. Пальцы обхватывают рукоять снизу, большим пальцем поверх – хват, которому меня никто не учил. Хват, которого тело не знает. Мой. Левый. Гроннар был правшой. Я это помню по тому, как тело тянется к чаше, к мечу, к огню. Правой. Всегда правой. А сейчас – левая, потому что левая была ближе, потому что в тот миг, когда полог двинулся, тело не выбирало руку – оно выбрало выживание.

Мортаг видит. Я знаю, что он видит, потому что его глаза задержались на суставах моих пальцев – на том, как большой обхватывает рукоять сверху, как у человека, который держит столовый прибор, а не оружие.

Я разжимаю руку. Медленно. Пальцы отходят от горла, и нож опускается – не убирается, а опускается, вдоль бедра, и лезвие ещё касается его кожи, но уже не давит. Мортаг не отступает. Он вообще не двигается. Стоит и смотрит, и в его молчании – вес, который давит сильнее, чем рука на горле.

– Я не спал.

Голос выходит хриплым. Это не ложь – голос Гроннара хриплый от природы, от дыма, от крика, которого не было. Но слова – чужие. Неправильные. «Я не спал» – это то, что сказал бы человек. Орк сказал бы «не лежал» или промолчал бы. Я это понимаю – после. После того, как слова уже вышли. После того, как Мортаг чуть сужает глаза – на долю секунды, на ширину ресницы, – и снова открывает ровно.

– Нож ты держишь как бабка веретено, – говорит он без насмешки. – Левая рука, большой палец сверху, движение вниз. Так хлеб режут. Горло – иначе.

Я молчу и впервые не получаю ответа даже от мышечной памяти. Раньше она вела меня через кивки, стойки и паузы; сейчас внутри пусто. Нож в левой руке, Мортаг напротив, и он видит мою растерянность. Хуже всего, что на прямое обвинение можно ответить. На это молчание – нечем.

– Вставай, – говорит Мортаг. – Костёр. Старейшины.

Он не ждёт ответа. Поворачивается и выходит, и полог падает за ним, и я стою один в шатре с ножом, который нельзя вернуть, нельзя выбросить, нельзя оставить, и теперь – нельзя держать. Я засовываю его за пояс. Рукоять упирается в ребро, и холод лезвия проходит сквозь ткань, и тело не реагирует – раньше бы вздрогнуло, а сейчас просто принимает. Холод. Ещё один. Как будто этого мало.

Костёр горит в центре лагеря – большой, не для тепла, для света. Старейшины сидят вокруг на брёвнах, вытянутых камнях, обрубках стволов. Их пятеро. Мортаг – слева, ближе к огню. Рядом – Ургх, старший из старейшин, с лицом, похожим на обветренный камень: ни одного выражения, ни одной лишней линии. Напротив – Вельда, и рядом с ней пустое место, и я знаю, чьё оно, потому что тело знает, потому что тело садится именно туда, именно так, и я позволяю ему – в последний раз позволяю, потому что после этой ночи тело перестанет вести, и это – сейчас, в том, как мышцы сгибают колени, в том, как позвоночник выпрямляется, в том, как плечи разворачиваются – в этом есть прощание. Тело отпускает поводок. Не рывком. Пальцы разжимаются по одному.

Чаша идёт по кругу. Я беру её левой рукой и замечаю, как Мортаг и Вельда остаются совершенно неподвижными. Горький тёплый глоток с железным привкусом тело принимает

без труда, а я думаю только о том, что снова выбрала не ту руку. Гроннар всегда пил правой. Все в круге это знают и молчат.

Ургх откашливается. Не громко. Так, чтобы все повернулись.

– Был вождь, – говорит он, – задолго до Сокрушителя. До Клыка. Когда клан жил у Серых Вод.

Он говорит медленно, и слова – тяжёлые, обкатанные, как камни в реке. Я не двигаюсь. Тело не двигается. Но внутри – натяжение, как струна, которую подтянули на полтона.

– Пошёл он один на горного льва. Три дня. Вернулся. Но не вернулся.

Ургх замолкает. Огонь потрескивает. Искра взлетает и гаснет. Вельда смотрит на меня – не в лицо, куда-то ниже, на грудь, на то место, где сердце бьётся под рёбрами. Я не знаю, что она слышит. Не хочу знать.

– Тело вернулось, – продолжает Ургх. – И голос, и руки. Но человек был уже не тот. Иначе ходил, иначе смотрел, даже ел левой рукой.

Тишина уже похожа на приговор. Потрескивают дрова, кто-то дышит в темноте за кругом, а сердце Гроннара продолжает стучать ровно, будто история Ургха его не касается. Только меня касается. Страх сидит в животе и горле, и впервые тело не умеет его спрятать – оно тоже узнало эту историю.

– Был ритуал, – говорит Ургх. – Кровь. Огонь. Дым. Если вождь – тот, дым поднимается. Если не тот...

Он не заканчивает. Не нужно. Я понимаю. Все понимают.

Вельда встаёт. Движение – плавное, медленное, как подъём тумана. Она достаёт из складок одежды горсть трав – сухих, тёмных, пахнущих пылью и чем-то сладковатым, гнилым. Бросает в огонь. Травы шипят, вьются, дым поднимается – и заваливается. Вбок. Как будто его сдунуло. Ветра нет. Полог шатра не колышется. Искры летят вверх, а дым – нет. Дым стелется по земле, ползёт, извиваясь, к моим ногам, и я хочу встать, отодвинуться, уйти, но тело – сидит. Тело – ждёт. А я – нет.

– Духи не узнают тебя, Сокрушитель, – говорит Вельда.

Слово падает между нами. Не имя – диагноз. Как диагноз, который врач произносит над телом, ещё дышащим, но уже не принадлежащим прежнему хозяину.

Дым обвивает мои щиколотки. Тёплый. Горький. В горле – привкус меди, и я не знаю, это от чаши или от страха. Пальцы левой руки сжимают чашу. Правая – на колене, неподвижна. Нож за поясом. Ирги – нет. Ирга ушла, и её место – пустое, и пустота – давит.

Я встаю. Ноги – чужие, тяжёлые, но слушаются. Впервые – по-настоящему слушаются. Не потому что помнят. Потому что я решила. Решение – простое, глупое, отчаянное, и оно пришло не из тела, не из памяти Гроннара, не из инстинкта – из того, что осталось, когда всё остальное замолчало. Из меня.

Я выхожу из круга и иду к шатру Ирги. Рукоять ножа бьёт по ребру на каждом шаге. Впервые я не пытаюсь разделить движения на свои и Гроннаровы: если сейчас ошибусь, ошибка будет моей. Если сделаю правильно – тоже.

Шатёр Ирги. Полог задёрнут. Свет – тусклый, из-за ткани, от костра. Я останавливаюсь. Не потому что тело остановило – потому что я остановила. Своими ногами. Своей волей. Нож – в левой руке.

Я вонзаю нож в мёрзлую землю там, где Ирга обычно сидит на страже. Это не совсем возвращение: для него я должна была бы протянуть рукоять и сказать «возьми». Но и оставлять оружие себе не хочу. Поэтому ставлю его в землю на её месте – там, где оно служит тому, кто остаётся рядом.

Полог шевелится. Ирга выходит. Не быстро, не медленно – с той ровностью, которую я уже научилась читать как угрозу или как близость, и не понимаю, что именно из двух. Она смотрит на нож. Потом – на меня. И впервые – не молчит.

– Зачем?

Одно слово. Без интонации. Без вопроса. Как удар, который нанесли плоскостью – не лезвием. Я отвечаю. Правду. Не всю.

– Потому что я не тот, кем был.

Тело не лжёт. Голос – лжёт. Голос говорит «не тот», и это правда, но не та, которую слышат. Они слышат: вождь изменился. Я имею в виду: я не Гроннар. Не тот. Другой. Совсем. Но слова – одни и те же, и в этом – спасение, и в этом – ловушка, потому что правда всегда звучит как ложь, если слушающий не готов.

Мортаг стоит за спиной. Я слышу – не оборачиваюсь. Вельда – у костра. Дым – поднимается. Ровно. Прямо. Как будто его отпустили. Как будто что-то решилось.

Она берёт нож не сразу. Пальцы касаются рукояти, находят выемки, повторяя гроннаров хват. Потом сжимают. Забирает нож не потому, что верит. Не потому, что простила. Потому что выбрала его – и он выбрал её.

Ирга убирает нож за пояс. Её пояс, не мой. Разворачивается, уходит к костру, и я стою у её шатра с грязными пальцами и пустым поясом, и за спиной – старейшины, и впереди – старейшины, и дым поднимается ровно, и тело – моё, и нож – её, и это – всё, что есть.

Я делаю шаг. Второй. Третий. К костру. Не к своему месту – оно больше не моё, оно осталось там, где дым стелился по земле, где Вельда произнесла приговор. Я иду к краю круга, туда, где сидят те, кто ещё не стал старейшинами, но уже перестал быть просто воинами. Туда, где место пустое не потому, что кто-то умер, а потому, что кто-то ещё не пришёл. Я сажусь. Земля холодная. Бревно – шершавое. Тело устраивается без привычной лёгкости, без автоматизма, который годами укладывал его в пространство как ключ в замок. Теперь это не замок. Это просто место. И тело учится занимать его заново.

Мортаг смотрит. Не осуждающе. Не одобрительно. Просто – фиксирует. Как воин фиксирует новую расстановку сил перед боем, который ещё не начался, но уже неизбежен. Ургх молчит. Вельда опускает глаза. Дым поднимается ровно, и в этом ровном подъёме – не прощение, нет. Прощение было бы слишком простым, слишком человеческим словом для того, что происходит сейчас. Это – допущение. Признание того, что то, что сидит перед ними, дышит, видит, слышит и помнит, имеет право оставаться. Не как вождь. Не как Гроннар. А как то, что есть.

Чаша идёт дальше. Мимо меня. Я не беру её. Рука остаётся на колене. Пальцы – спокойны. Впервые за эту ночь они не сжимаются, не ищут опору, не тянутся к тому, чего нет. Они просто лежат. На ткани. На коже. На тепле, которое медленно просачивается сквозь одежду от костра. И в этом покое – не конец. Начало. Тихое, хрупкое, лишённое гарантий. Но моё.

Ирга садится рядом. Не вплотную. На расстоянии вытянутой руки. Нож – у неё на поясе. Мой нож. Её нож. Наш нож. Она не смотрит на меня. Смотрит в огонь. И в этом взгляде – не вопрос, не ответ, не ожидание. Просто присутствие. Рядом. В той точке пространства, где раньше была пустота, теперь есть она. И этого достаточно, чтобы тело не дрожало. Чтобы дыхание оставалось ровным. Чтобы страх, живущий в животе, не превращался в действие, а оставался просто знанием. Знанием о том, что всё может рухнуть снова. Что доверие – не камень, а лёд. Что каждый шаг отныне – выбор, а не инстинкт.

Но пока лёд держит. Пока рука на колене не дрожит. Пока дым поднимается ровно. Пока Ирга сидит рядом. Пока Мортаг смотрит и не отводит глаз. Пока Ургх молчит, и в его молчании – не угроза, а вес. Вес истории, которая продолжается, несмотря ни на что. Несмотря на то, что вождь мёртв. Несмотря на то, что духи не узнали. Несмотря на то, что левая рука держала нож как веретено.

Я сижу. Дышу. Чувствую холод земли и тепло огня. Слышу треск дров и чужое дыхание. И в этом ощущении – не целостность. Целостности больше не будет. Есть собранность. Хрупкая, временная, зависящая от тысячи мелочей, которые могут сломаться в любой миг. Но сей-

час – они целы. Сейчас – я здесь. Не Гроннар. Не самозванец. Не тень. Просто – я. В теле, которое учится быть моим. В кругу, который учится принимать меня таким, какой я есть. В ночи, которая не закончилась, но в которой появился первый, едва заметный, но настоящий свет.

Глава 7. Ультиматум

Кровь на языке. Металлическая, тёплая, с привкусом соли и чего-то горького – травы, может быть, или железа из земли. Мортаг стоит надо мной, его ладонь прижата к моим губам, и я глотаю. Не потому что хочу. Тело глотает. Глоток – короткий, судорожный, как рвотный позыв в обратную сторону. Потом ещё один. И ещё. Горло работает само, и я чувствую, как чужая кровь стекает по пищеводу – горячая, густая, и в груди разгорается что-то новое. Не тепло. Не боль. Что-то вроде узнавания. Будто мышцы вокруг рёбер вздрагивают и говорят: да, это, вот это, мы помним.

Мортаг отнимает ладонь. Рана на ней уже затягивается – края стягиваются, бледнеют, и я вижу это при свете костра: кожа орка заживает на глазах. Не мгновенно. Но быстро. Слишком быстро для человека.

Мортаг садится напротив. Лицо его – каменное, и в этом камне – ничего. Ни торжества, ни подозрения. Он делает то, что делал всегда, и в этом – его вес. Он режет ладонь, он кормит кровью, он смотрит, как тело принимает. Он – часть ритуала, как огонь – часть ночи.

– Кровь принята, – говорит Ургх буднично, словно объявляет о рассвете. – Сокрушитель держит строй против пятерых. Так было. Так будет.

Тело реагирует раньше, чем я успеваю подумать. Мышцы наполняются – не напряжением, а готовностью. Жидкой, тёплой, как кровь, которая только что прошла через горло. Ноги поднимают меня, и я стою. Стою – и это уже не то стояние, которое было минуту назад, когда я сидел у огня и слушал треск дров. Другое. Тело стоит так, как стоят перед боем: центр тяжести смещён, колени чуть согнуты, плечи развёрнуты. Я не выбирал эту стойку. Она выбрала меня.

Круг расширяется. Костёр – в центре, но бой будет не у огня. Ургх и Мортаг отодвигают всё: чашки, шкуры, палки, которые подпирали полог шатра. Площадка – утоптанная земля, мокрая от росы. Круг – негласный, но все видят его границы. За линию не заходят. Никто.

Пятеро выходят из темноты. Я узнаю двоих – Мортаг и воин с перевязанной рукой, который нёс мне еду вчера. Трое – незнакомцы. Молодые. Крепкие. С руками как дубовые корни. Они не улыбаются. Они вообще не выражают ничего. Они – часть ритуала, и ритуал не требует их эмоций. Требует их кулаков.

– Первый, – говорит Ургх.

Тот, что с перевязанной рукой, выходит в круг. Повязка на левой руке – значит, он бьёт правой. Я это знаю. Не потому что оценил противника – потому что тело уже развернуло правое плечо и опустило центр тяжести, подставляя левый бок. Бей. Я готов к удару справа. Тело готово к удару справа.

Он бьёт слева.

Левой. Перевязанной. И в этом – ничего благородного. Он бьёт больной рукой, потому что я ждал здоровую, и удар – скользящий, костяшками по скуле, – достигает цели. Голова дёргается. Земля качается. Вкус крови – уже моей, из рассечённой губы. И в этом вкусе – странное раздражение. Не боль. Не страх. Раздражение, как оттого, что кто-то наступил на ногу в толпе. Тело не напугано. Тело злится.

Я разворачиваюсь. Левая рука – блок, правая – удар в корпус. Не я бью. Тело бьёт. И попадает – под рёбра: короткий выдох из противника, шаг назад. Ещё удар – коленом, снизу, в бедро. Нога подгибается. Он падает на одно колено. Уходит из круга.

Всё – за три секунды. Три секунды, в которых я – зритель. Зритель в собственном теле, которое дерётся без моего разрешения. Я видел каждый удар – но не выбрал ни одного. Руки двигались. Ноги двигались. Туловище разворачивалось. Всё – без меня. Я – пассажир, который вцепился в сиденье и ждёт, пока машина остановится.

– Второй, – говорит Ургх.

Этот соперник старше, со шрамом через щеку, ступает мягко и тихо. Мышцы напрягаются иначе – настороженно. Тело распознаёт опасность, а я ещё нет. Моё боевое образование до сих пор ограничивается дверным ключом, чайником и кодом на телефоне; ничего из этого здесь не пригодится.

Он бьёт прямо и тяжело. Тело уходит в сторону, мой ответ – ребром ладони в шею – он блокирует. Следующий обмен приходит уже без мысли: удар, защита, разворот, ещё удар. Мышцы держат ритм боя так уверенно, будто слышат музыку, которой я никогда не училась.

Он промахивается, я – нет. Кулак входит в живот, противник складывается и отступает.

Дыхание – тяжёлое. Не моё. Тело дышит часто, и я чувствую, как лёгкие работают – огромные, вместительные, они гонят воздух с присвистом, и сердце колотится, и кровь – чужая, Мортага, – пульсирует в груди, будто ищет место, где может осесть. Пот стекает по спине. Горячий. Лицо – мокрое. Я вытираю лоб тыльной стороной ладони и вижу на коже – кровь. Моя. Из рассечённой губы. И чужая. Мортага. Смешались.

– Третий, – говорит Ургх.

Этот быстрый – молодой, жилистый, двигается почти по-кошачьи. Я не успеваю. Первый удар приходится в бок, второй в плечо, третий в челюсть. Земля ударяет в спину. Надо мной тёмное небо без звёзд. Тело уже поднимает меня рывком, а боль приходит позже: через секунду в левом боку тихо хрустит, будто ломается сухая ветка. Рёбра. Горячая волна расходится изнутри, и вместе с ней приходит неожиданное облегчение.

Боль – моя. Не Гроннара. Не тела. Моя. Я чувствую, что кость сломана, и это – мой перелом, моя боль, мой бок, моё тело. Впервые за все эти дни я не наблюдаю за телом. Я – в нём. Не снаружи. Не сбоку. Внутри. И боль – не чужая. Моя. Моя боль. В моём теле. И от этого – не легче. Но иначе.

Тело поднимается. Бок горит, но мышцы гасят боль – не убирают, а отодвигают, как ненужную вещь на край стола. Третий бьёт снова. Тело – блок. Правой. Левая не слушается – бок стягивает, мышцы спазмируются, и левая рука висит. Но правая – работает. Блок, разворот, захват – и третий на земле. Тело стоит. Тяжело дышит. Бок – пульсирует.

– Четвёртый, – говорит Ургх.

Четвёртый – крупный, медленный, бьёт тяжело. Тело уходит от ударов, но медленнее, чем раньше, и один удар проходит – в плечо. Рука немеет. Правая. Единственная, которая работает. Я стою с одной рабочей рукой, сломанными рёбрами и чужой кровью в горле. И в этом стоянии – ничего героического. Просто – стою. Потому что тело не умеет сдаться. Потому что Гроннар не умел.

Четвёртый бьёт – тело ловит. Ловит его кулак своим предплечьем, и кость – хрустит, но держит, и в этом хрусте – не сила, а упрямство. Глупое, звериное, безрассудное. Четвёртый отступает. Не потому что я победил – потому что тело не упало. И это – ответ. Не тот, который я давал. Тот, который тело дало за меня.

– Пятый, – говорит Ургх.

Мортаг выходит в круг. Без оружия. Без брони. Рубаха – снята. Торс – рельефный, покрытый шрамами, каждый из которых – история, которую я не знаю и не узнаю. Он смотрит на меня. И в его взгляде – не проверка. Вопрос. Тот же, что был в его молчании ночью: ты – наш или нет.

Он бьёт. В полную силу. Не имитируя. Кулак – как молот, и тело не блокирует, не уклоняется, не уходит. Тело стоит. Удар – в грудь. Грудная клетка прогибается, воздух выходит из лёгких – весь, до дна, – и я стою. Стою. Ноги не держат. Колени подгибаются. Но я – стою. И в этом стоянии – ответ, которого я не давал. Ответ тела. Ответ, который говорит: я здесь. Я не падаю. Я – стою.

Мортаг бьёт снова. В бок. В сломанные рёбра. Боль – белая, ослепляющая, и в этой белизне – ничего, кроме факта: я чувствую. Я чувствую боль. Мою. Не чужую.

Я стою.

Мортаг останавливается. Смотрит. Дышит – тяжело, через нос. Кулаки – разжимаются. Он отступает. Один шаг. Два. Выходит из круга.

– Строй держит, – говорит Ургх.

И в этих двух словах – всё. Не победа. Не поражение. Факт. Тело держало строй. Тело – стояло. Тело – ответило.

Круг сжимается. Тишина – не абсолютная, а живая: кто-то дышит, кто-то переступает с ноги на ногу, кто-то кашляет – тот же кашель, клокочущий, длинный. Костёр трещит. Дым поднимается. Мир – продолжает.

Я стою. Бок – пульсирует. Грудь – болит. Левая рука – не двигается. Правая – дрожит. Но я – стою.

Мортаг подходит. Молча. Без слов, без жестов, без предупреждения. Берёт мою левую руку. Ту, которая не двигается, которая висит, которая не слушается. Разжимает пальцы – один за другим, и я не сопротивляюсь, потому что сопротивляться нечем. Пальцы – разжимаются. Ладонь – открыта.

Мозоли человека, который держал ручку, а не меч, печатал на клавиатуре, а не сжимал рукоять. Я помню их. Не вижу – помню. И они были моими. А эти – нет. Эти – гроннаровы. Но боль в них – моя.

Мортаг поднимает глаза. И в его взгляде – не гнев. Не подозрение. Не угроза. Скорбь. Тихая, тяжёлая, как мокрый снег. Скорбь человека, который видит то, чего не хочет видеть, и не может не видеть.

Он почти шёпотом произносит короткое орочье слово с рычанием на выдохе. Я его не понимаю, зато тело вздрагивает от узнавания. Значение осталось где-то в Гроннаровой памяти, недоступной мне.

Мортаг уходит. Не оборачиваясь. Садится у огня. Спиной ко мне.

Ирга остаётся у края круга. Повернуть голову больно, поэтому я слежу за ней краем глаза. Она смотрит не на меня, а на Мортага. В этом взгляде нет ни вопроса, ни ответа – только что-то давно понятное им обоим, выраженное расстоянием: к нему она стоит чуть ближе, от меня – чуть дальше, чем хотелось бы.

Я стою. Со сломанными рёбрами. С мозолями не на тех местах. Со словом, которого я не знаю, но тело знает.

Ритуал пройден, строй выдержан – но заслуга не моя. Стояло, отвечало и терпело Гроннарово тело. Я только была внутри. И всё труднее делать вид, будто это одно и то же.

Или теперь – я?

Бок пульсирует. Боль – моя. Мозоли – мои. Тело – моё? Чужое? Моё? Вопрос – без ответа, и в этом отсутствии – не пустота. Вес. Тяжесть того, что ещё не решено, что ещё не названо, что ещё – между. Между мной и телом. Между Гроннаром и мной. Между тем, кем я была, и тем, кем становлюсь.

Я делаю шаг. Бок – рвётся. Воздух – свистит. Земля – мокрая, холодная, и ноги стоят на ней. Мои ноги. Не Гроннаровы. Не мои. Наши.

Костёр догорает. Угли – красные, пульсирующие, как открытая рана. Я смотрю на них, и в этом взгляде – не тепло. Ожог. Внутренний. Тот, что остался после крови Мортага. Она ещё течёт во мне – не по венам, а глубже. В костном мозге. В памяти мышц. И эта память – не моя. Но тело помнит. Тело знает вкус этой крови, как знает вкус собственной.

Ирга делает шаг. Один. Тихий. Не ко мне – к огню. Бросает в угли щепоть сухой травы. Дым – горький, терпкий, и в нём – запах, который я не знаю, но ноздри раздуваются сами. Тело вдыхает. Тело узнаёт. Это – трава забвения? Или трава памяти? Для Гроннара – память. Для меня – забвение. Или наоборот.

Я делаю второй шаг. К шатру. Полог – тяжёлый, мокрый от росы. Пальцы правой руки цепляются за ткань. Левая – висит. Мёртвый груз. Но даже этот груз – часть ритуала. Часть ответа. Тело несло эту боль, как несло удары Мортага. Не сбрасывало. Не просило пощады. Терпело. Потому что так – надо.

Внутри шатра – темно. Шкуры на земле. Запах зверя, пота, дыма. Мой запах? Нет. Гроннаров. Но теперь – и мой тоже. Я ложусь. Бок кричит. Рёбра – осколки стекла под кожей. Дыхание – рваное, поверхностное. Каждый вдох – сделка с болью. Выдох – плата.

Глаза закрываются. Темнота – не пустая. В ней – ритм. Тот самый, что был в бою. Удар-блок-удар. Сердце бьётся в этом ритме. Кровь стучит в висках. И в этом стуке – имя. Не моё. Не Гроннара. Другое. То, что прошептал Мортаг. Оно всплывает из глубины, как пузырь со дна болота. Тяжёлое. Мутное. Живое.

Тело знает это имя. Тело носит его в костях. А я – учусь произносить его беззвучно. Учусь жить внутри него. Как жил Гроннар. Как живу теперь я. Не вместо. Вместе.

Боль утихает. Не уходит – притупляется. Становится фоном. Основой. На ней – строится новое. Не старое. Не чужое. Наше.

Завтра будет новый день. Новые удары. Новая кровь. Новые вопросы без ответов. Но сейчас – только тишина. Только боль. Только тело, которое стоит. Даже лёжа. Стоит. Держит строй. Против ночи. Против себя. Против того, кем было. За то, кем станет.

За нас.

Глава 8. Правда

Свет – серый, водянистый. Не утренний. Тот, что просачивается сквозь мокрую ткань после дождя, когда ночь уже кончилась, а день ещё не решил начинаться.

Бок ноет. Рёбра – не острые, как ночью, а тупые, глухие, будто кто-то залил свинец в полости между костями и забыл вытащить. Я двигаю ногой. Потом рукой. Левая – та, что вчера висела как чужая – отвечает. Медленно, с задержкой, но отвечает. Пальцы сжимаются. Разжимаются. Сгибаются. Мои.

Шкуры пахнут зверем. Мокрой шерстью, потом, дымом. Запах въелся в шкуры так глубоко, что стал не запахом, а фактом. Как камень. Как земля. Не убирается. Не выветривается. Принадлежит этому месту, и я – принадлежу ему тоже. Пока.

Сажусь. Голова тяжёлая, как после похмелья, но не от вина – от вчерашней крови. Кровь Мортага. Она всё ещё во мне, и тело не пытается отторгнуть её. Наоборот. Впитало. Переварило. Сделало частью обмена, который я не понимаю, но тело – понимает. Тело знает, что чужая кровь в ритуале – не пища. Связь. Контракт. Обещание, написанное в клетках, а не на бумаге.

Полог шатра откидывается. Без стука. Без предупреждения. Ирга входит, и за ней – утренний холод, запах мокрой земли и угля. В руках – миска. Пар поднимается от неё, и в этом паре – мясо, травы, жир. Мой желудок сжимается. Голод. Не человеческий, не вежливый. Орочий. Голод, который требует, а не просит.

Она ставит миску рядом со мной. Не подаёт – ставит. Рядом. На расстоянии вытянутой руки. И садится напротив. Не рядом – напротив.

Расстояние вытянутой руки. В нём – всё, чего не было, когда она садилась у костра. Вчера она садилась рядом, и в этом не было близости – была служба. Сегодня она села напротив, и в этом нет службы. В этом – суд.

Она смотрит на мои руки. Не на меня – на руки. Ждёт. Я знаю, что она ждёт, потому что тело знает, что значит молчание орка, направленное на тебя. Это не пауза перед словом. Это – стена. И ты стоишь перед ней, и ты либо говоришь, либо стена растёт.

Между нами – нож. Тот самый. Она не забрала. Не выбросила. Положила – ровно, посередине, как границу. Лезвие тупо блестит в сером свете. Выемки на рукояти – те, что ложатся в чужую хватку – смотрят вверх, как открытые раны.

Если я промолчу – граница станет стеной.

Я знаю это. Не потому что Ирга сказала. Потому что тело знает. Тело Гроннара помнит, что бывает, когда вождь молчит перед тем, кто ждёт ответа. Молчание – не пауза. Приговор. Тот, кто молчит, когда от него ждут слова, – отказывается. А отказ вождя – это слабость. А слабость – это смерть.

Ирга не задаёт вопросов. Она перечисляет.

– Левой рукой ты держишь нож как веретено, – говорит он без упрёка. – Гроннар брал его правой. Всегда. Даже со сломанной рукой. Я видел.

Она замолкает. Не для паузы – для веса. Даёт слову лечь.

– Вождь не узнаёт собственного меча. Вчера ты смотрел на клинок, как на чужой. Гроннар знал этот меч с тех пор, как выковал его в кузницах Каменного Хребта. Он говорил с ним. Во сне. Я слышала.

Снова замолкает. И я слышу, как за стенами шатра капает с деревьев – ночная роса, отказывающаяся падать до конца, цепляющаяся за листья, как последний свидетель того, что был дождь.

– Тело помнит ритуал, которого разум не знает. Мортаг дал кровь. Ты принял. Но ты не назвал его. Гроннар всегда называл. По имени. До крови. Ты – не назвал.

Ирга выкладывает факты один за другим, и из них складывается простая жестокая цепочка: вождь, который не помнит собственных привычек, перестаёт быть вождём; дальше – борьба за власть и война внутри клана. Она не угрожает. Просто показывает, куда ведёт каждый следующий шаг.

Я открываю рот.

И тело выдаёт звук, которого я не планировала.

Низкий. Горловой. Не рык – не совсем. Скорее стон, вывернутый наизнанку, сжатый в грудной клетке и выдавленный наружу через стиснутые зубы. Звук, который Гроннар издавал, когда ему было стыдно. Не перед врагом. Перед своими.

Ирга вздрагивает.

Ирга слышит. Слышала раньше – от Гроннара, прежнего хозяина этого тела. Тот же низкий, рваный звук, который поднимается из груди и не становится словом.

Звук обрывается. Тишина. Я слышу, как капли падают с деревьев. Как трещит угасший костёр снаружи. Как дышит Ирга – ровно, мерно, смертельно ровно. Тело ловит чужой ритм и примеряет его к моему. Мой – медленнее. Грубее. Как два барабана, настроенных на разные песни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.